

ПЕЧАТЬ и ИСКУССТВО



А. П. Чеховъ. (1902 г.)
(Къ 10-лѣтию со дnia кончины—2 юля).

xviii года издания. 1914
№ 26

тоскующей предсмертной тоскою, все такъ же мало и мимоходомъ...

Чеховъ не былъ натурой дѣйственной, активной, волевою. Объ этомъ, если читатели припомнятъ, я писалъ уже неоднократно. Онъ не былъ также страстенъ. Все это, въ связи съ процессомъ обмирания, вело къ созерцательно-эстетическому мѣроотношенню. Дѣйственное всегда находится въ большемъ или меньшемъ противорѣчи съ эстетическимъ. У Тургенева, съ которымъ у Чехова было много точекъ соприкосновенія,—гораздо больше, чѣмъ съ Достоевскимъ или Толстымъ,—очень ясно проведена эта параллель дѣйствія, всегда физиологического и материалистического, и бездѣйственного эстетического устремленія. Остродумовъ въ «Нови», одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ революционеровъ, носилъ грубые сапоги, подбиты гвоздями,—Неждановъ, наименѣе дѣйственній, писалъ стихи. Павелъ Кирсановъ вѣрить въ «принципы» и любилъ поэты. Базаровъ раздалъ лягушечку и смѣялся надъ Пушкинымъ. Чеховъ ближе по своей натурѣ къ первымъ. Чеховъ не горѣлъ въ огнѣ неугасимой страсти, но вся душа его была въ ровной, безграничной, тихой, какъ степь, красотѣ. Какъ истинный пессимистъ—а Чеховъ былъ пессимистомъ чистой воды—онъ зналъ радости и цѣли только отрицательныя, негативныя. Хочу, чтобы жизнь была красива; хочу, чтобы жизнь была изящна; хочу, чтобы въ Москвиѣ не было кривыхъ улицъ. И всѣ мечтаютъ о томъ, что когда нибудь «жизнь будетъ невообразимо прекрасна», что «жизнь превратится въ цветущий садъ», и будеть «необыкновенно легка и удобна». И Чеховъ страдаетъ, главнымъ образомъ, не отъ аморальности жизни, а отъ ея пошлости и грубости; не отъ того, что жизнь полна горя, а отъ того, что она сѣрая и бездарная, что полна грязи. «Зачѣмъ эта жизнь такъ скучна и бездарна?»—спрашиваетъ архитекторъ въ разсказѣ Чехова. Почему—тоскуетъ Ивановъ—нѣть яркихъ красокъ и звуковъ? Отчего исчезли лѣса и лебеди?—вздыхаетъ Астровъ. Что такое лебедь? Полезность? экономическое благополучіе? соціологическая справедливость? любовь къ человѣчеству? наука, знаніе, культура, справедливость? Нѣть, лебедь—это «изящное», пре-эстетическое начало, въ которомъ растворяются страданія, которое, какъ ласковымъ зефиромъ, сдуваетъ налетъ пошлости и мѣщанства.

Чеховъ страдаетъ отъ жизни, потому что ея физиология груба, банальна, тупорна. Она эстетически неоправдана. Романъ Астрова и профессорши въ

Замѣтки.

Десять лѣтъ, прошедшихъ со смерти Чехова, не только не отдалили отъ насы образъ покойного, но наоборотъ, приблизили. За это время съ Чеховымъ особенно сжились и крѣпко его полюбили. Большинство русскихъ писателей взяло отъ жизни «возможную дань», и посмертное къ нимъ обращеніе являлось, результатомъ всего, что общество питало къ нимъ при жизни. О Чеховѣ при жизни было сравнительно мало разговоровъ. Я просматривалъ какъ то толстую книгу г. Подольского, представляющую перепечатку разныхъ статей о Чеховѣ,—перепечатку, искати сказать, едва ли сдѣланную съ особеннымъ вкусомъ. Въ огромнейшей части, перепечатанные статьи и замѣтки были написаны уже по смерти Чехова. Весьма характерно! И еще о другомъ я думалъ,—просматривая толстую книгу—о томъ, что послѣ смерти Чехова многимъ стыдно стало за равнодушіе и холодность къ нему.

Когда Чеховъ умеръ, когда оглянулись на жизнь его и на дѣятельность, то вдругъ стало какъ то ясно, что Чеховъ былъ очень несчастный человѣкъ. Надломленный цѣлѣтокъ, наивное дитя, умное, талантливое, необычайно интересное, но съ какимъ то органическимъ недугомъ, отчего глаза свѣтились еще глубже и лицо было обвѣяно еще большей грустью. И становилось досадно, что вотъ этого, главнаго, не примѣтили—что онъ «не жилецъ» былъ на этомъ свѣтѣ, давно уже не жилецъ, и что корили его зря—почему, моль, не держится прямо, не кричитъ во всю глотку «да здравствуетъ свобода!» или «да здравствуетъ восьмичасового рабочаго дня!»—тогда какъ ничего этого онъ не могъ, ибо былъ не жилецъ среди насы, а особенный, тихій, несчастный и страдающій, но старающийся объ этомъ не подавать виду.

Потомъ старались наверстывать. И Боже мой, какъ старались! Не только Чехову простили, зачѣмъ не требовалъ восьмичасового рабочаго дня, но даже нашли что сказать въ его оправданіе! Хотя о душѣ Чехова,



А. П. Чеховъ на смертномъ одрѣ.



Чеховские типы.

«Дядь Ваня» очаровательен именно этимъ стыдомъ за физиологію. Стыдъ предъ физиологію, а не мотивы и соображенія этики и морали удерживаютъ Астрова и Елену Андреевну. Астронъ какъ то пробуетъ намекнуть на поэтическія развалины во вкусѣ Тургенева, «куда» хорошо бы удалиться, но не настаиваетъ. Чрезвычайно быстро, едва натолкнувшись на препятствіе, Астронъ отстраняется. Среди многихъ грубостей, которыми Художественный театръ наградилъ Чехова, самая непріятная для меня грубость была физиологическая эротика г. Станиславского въ сцѣнѣ съ профессоршой. Такъ извратить Чехова и его эстетическое міроотношеніе совершенно непростительно. Чеховское цѣломудріе—результатъ его стремленія къ «изящному», къ «невообразимо прекрасному». Когда физиология жизни не кричитъ голосомъ инстинкта, не окрашена темпераментомъ и не воспаменена безразсудствомъ страсти, она ужасна въ мѣщанствѣ своемъ, въ неизреченной своей пошлости. Она въ состояніи тогда вызвать «припадокъ», какъ у того студента изъ рассказа Чехова, который побхаль въ домъ терпимости. Когда нѣть аппетита и разстроены физиологические процессы—подумайте, сколько тягостного и пошлого въ процессѣ питанія и пищеваренія! Какъ невообразимо тяжело чувствовать огромное брюхо, занимающее половину организма! Что долженъ испытывать мозгъ, обнимая міръ и сложнѣйшая чувства его, находясь въ рабствѣ у этого огромнаго котла животной энергіи!

Была ли у Чехова своя идеальная форма жизни? Не думаю. Имъ смутно чувствовалась красота, какъ спасеніе отъ ужаса мѣщанства. Въ разсказѣ «Красавицы» читаемъ: «Передо мною стояла красавица, и я понять это съ первого взгляда, какъ понимаю молнию. Всѣ глядѣть на закатъ и всѣ до одного находить, что онъ страшно красивъ, но никто не знаетъ и не скажетъ, въ чёмъ тутъ красота... Я взглянулъ въ лицо

дѣвушки, и вдругъ почувствовалъ, что точно вѣтеръ пробѣжалъ по мой душѣ и сдуналъ съ нея всѣ впечатлѣнія дня съ ихъ скучой и пылью». Красота должна сдунуть «пыль» повседневности. О красотѣ мечтаешь, потому что сейчасъ некрасиво... Такъ мечтаешь, мучимый жаждой о водѣ. Это не есть исповѣданіе догмата. Это не религія красоты, а страданіе по красотѣ, оскорблѣемъ грубой жизнью и главнымъ образомъ, ея физиологіей. Красота у Чехова единственная свѣтотѣнь жизни. Красота, какова бы она ни была. Красота какъ смутный идеалъ, какъ дополнительная дробь повседневности. Въ разсказѣ «Вѣдьма» некрасивому, противному дѣячу противополагается дѣячиха, полная, красивая, здоровая, и почтальонъ высокий, блокирый и стройный, котораго занесло метелью въ избу... И въ той жестокости, съ какою Чеховъ относится къ дѣячу, вы ясно чувствуете ненависть къ некрасивому за то, что оно некрасиво—а больше нѣть тутъ никакой вины—и очарование красивымъ за то, что оно красивое, и потому имѣть право угнетать некрасивое и издѣваться надъ нимъ...

Право душевной красоты—вотъ право Вершинина. Безправіе некрасиваго—это судьба Кулыгина, сбринувшаго себѣ усы и ставшаго еще болѣе некрасивымъ. Кулыгинъ—хорошій человѣкъ, но онъ некрасивъ и потому обреченъ. И баронъ хороший человѣкъ, но некрасивъ, и тоже обреченъ. И рѣшительно неважно, будетъ ли одинъ баронъ больше или меньше. У сѣраго и обыденного нѣть морального права на существованіе, какова бы ни была эта сѣрость и обыденность, хотя бы высоко-добротельная и высоко-порядочная, какъ у барона. Не жалко!

Жизнь, лишенная радости побѣды и опьяненія борьбы,—а такова была жизнь Чехова, надломленаго и увѣдающаго, не говоря уже о свойствахъ его темперамента—неизбѣжно ведеть къ философско-эстетической замкнутости, къ мечтѣ о красотѣ. Праздность, увы, основа эстетического восприятія міра. И любопытно, съ нашей точки зрѣнія, отмѣтить, что Чеховъ всегда писалъ о «тягости» работы, о томъ, что какъ де хорошо было бы не писать—чудесно!—да вовать нужно! Работа, трудъ—это физиология. Отдыхъ—это эстетика. И когда Соня говоритъ, что «мы отдохнемъ», она рисуетъ небо въ алмазахъ и поющихъ ангеловъ. Когда Раневская думаетъ объ отдыхѣ отъ своей жизни,—опять: «о, мое дѣтство, чистота моя! О, садъ мой! „Опять ты молодъ, полонъ счастія,



Дача А. П. Чехова въ Ялѣ.

ангелы небесные не покинули тебя!» И Вершининъ, какъ объ отдыхъ, мечтаетъ о жизни черезъ триста-четыреста лѣтъ — жизни «невообразимо прекрасной».

У Чехова не было религиознаго міросозерцанія — въ этомъ онъ сознавался неоднократно. Не было точныхъ общественныхъ идеаловъ — и въ этомъ онъ сознавался. Онъ былъ, быть можетъ, несчастенъ сознаніемъ того, что лишенъ этихъ благъ, но это такъ. «Почему вы любите такъ колокольный звонъ?» — спросилъ его А. Л. Вишневскій. «Это единственное, что у меня осталось отъ религіи» — отвѣтилъ онъ. Онъ не былъ равнодушенъ — ибо равнодушіе предполагаетъ сознательность — ни къ вопросамъ религіи, ни къ идеаламъ общественности. Онъ могъ радоваться, что «скоро у насъ будетъ конституція» (вспоминанія А. И. Куприна). Но развѣ возможно этими фактами и утвержденіями выражать противъ того, что у Чехова не было вѣры? У насъ разсуждаютъ какъ то странно. Вотъ человѣкъ радуется, что будетъ конституція или работаетъ для обученія народа грамотѣ — значить, на лицо идеалы общественности. Но тонкая, воспитанная, живая натура, вѣдь, не можетъ быть безчувственнымъ бревномъ ни въ одной области. Вѣдь навѣрное Чеховъ возмущался, когда били скотину и запрягали въ огромный возъ съ кладью заморенную извозчину лошадь. Однако нельзя же сдѣлать отсида заключеніе, что смыслъ жизни былъ найденъ — въ служеніи обществу покровительства животнымъ. Вѣрить въ прогрессъ, въ науку — значитъ, вѣрить мысли. Но вѣра мысли, можно оставаться несчастнымъ и холоднымъ, неутѣшеннymъ и несогрѣтымъ. Базаровъ вѣрить въ науку и въ точное знаніе, какъ самый преданный ученикъ. Но онъ говоритъ: «мужикъ будешь благоденствоватъ, а изъ меня будешь расти лопухъ». Это пониженіе «тонуса» жизни, основное ничтожество которой ярко встаетъ передъ глазами. Главное, «жизнь проходитъ». Главное — живемъ мы всѣ «на черно», и все надѣемся, что заживемъ «на бѣло» (по чеховскому выраженію), а этого то и не случится: «жизнь проходитъ», — «пропала жизнь!» Эту глубокую тоску по уходящей жизни можно понять только чувствуя, какъ она уходить. Она уходить въ нормально-физиологическомъ своемъ теченіи, такъ незамѣтно, какъ незамѣтно охлаждается земля. Но когда притупляются инстинкты, когда открывается

предъ созерцаніемъ конечнаго физиологія жизни, когда чувствуешь физиологію жизни подобно тому, какъ чувствуешь больную печень или встревоженное сердце — тогда уходящая жизнь есть источникъ ровнаго, неизмѣннаго пессимизма, роковой грусти въ ожиданіи конца.

И вотъ, куда идти? чѣмъ утѣшиться? Уйти въ исканіе красоты; утѣшиться изяществомъ какихъ то новыхъ, невиданныхъ, «невообразимо прекрасныхъ» формъ. Если хотите, вообще, уйти въ форму... «Три сестры» — это исканіе формы, какъ и «Чайка». «Новая форма нужны, а если идти иными формъ, такъ ничего не нужно», — какъ говорить Треплевъ. Новая форма, какъ эволюція, какъ идея прогресса, покрывающая роковую мысль о близкомъ концѣ. «Думайте, 22-го торги!» Новая форма, съ другой стороны, какъ плѣнительный образъ изящества. Но изяществу вся тоска Чехова. Мы не можемъ быть счастливы — это ясно. Мы не можемъ быть радостны — ибо отъ религіи остался «колокольный звонъ»; мы не можемъ быть бодры и жизнедѣятельны — потому что не знаемъ, где истина и въ чёмъ истина. Но мы можемъ быть изящны, все болѣе и болѣе изящны. Мы физиологичны — какая гадость! — по необходимости. Но создадимъ и здесь изящество. Пропала жизнь, — но жива поэзія. Подло пропала жизнь, но небо свѣкаетъ алмазами.

Петя Трофимовъ — прекрасный юноша, но онъ неизященъ. Отъ того, что онъ неизященъ, и что борода у него растеть, какъ перья, и что у него несложная калоши, въ которыхъ онъ ступаетъ даже по комнатамъ, онъ вызываетъ улыбку. Онъ — хороший человѣкъ. И Елиховъ — хороший человѣкъ. И Лопахинъ — смѣлый человѣкъ. Но всѣ они неизящны. А никому ненужный, утилитарно нелѣпый «Вишневый садъ», где живутъ совершенно непригодные уже осужденные люди — изященъ. На немъ почтѣтъ благодать эстетического отдыха и утѣшения. Голубиная чистота, и перья вместо бороды — почему это такъ часто встрѣчается? Почему появляется чувство эстетической брезгливости, когда люди дѣятельно, бодро и увѣренно мыслятъ жизнь? Почему такъ много грустной поэзіи на деревьяхъ старого сада? И отчего рай земной есть область ничегонедѣланія?

Не высокомѣріе къ людямъ, а тоска по красотѣ — вотъ въ чёмъ вся душа Чехова, особенно послѣдняго периода его жизни. У него нѣть мины аристократи-

Автографъ А. П. Чехова.

(Изъ письма А. П. Чехова къ А. Р. Кугело).

человѣкъ. И Елиховъ — хороший человѣкъ. И Лопахинъ — смѣлый человѣкъ. Но всѣ они неизящны. А никому ненужный, утилитарно нелѣпый «Вишневый садъ», где живутъ совершенно непригодные уже осужденные люди — изященъ. На немъ почтѣтъ благодать эстетического отдыха и утѣшения. Голубиная чистота, и перья вместо бороды — почему это такъ часто встрѣчается? Почему появляется чувство эстетической брезгливости, когда люди дѣятельно, бодро и увѣренно мыслятъ жизнь? Почему такъ много грустной поэзіи на деревьяхъ старого сада? И отчего рай земной есть область ничегонедѣланія?

Не высокомѣріе къ людямъ, а тоска по красотѣ — вотъ въ чёмъ вся душа Чехова, особенно послѣдняго периода его жизни. У него нѣть мины аристократи-

ческаго превосходства, какую можно подмѣтить у Тургенева, который какъ будто всегда подчеркиваетъ, что онъ-то знаетъ, что красиво и въ чёмъ красота. Чеховъ этого не знаетъ; едва-едва смутно чувствуетъ. Онъ знаетъ, что некрасива жизнь и пошла, скучна, противна ея физиология; что нужно отдохнуть въ ложь изящаго; что мечты объ изящномъ — это все, чѣмъ красна жизнь. Но когда, гдѣ, какъ? Черезъ триста-четыреста лѣтъ, можетъ быть... И что тогда? Тогда жизнь будетъ «невообразимо прекрасной», т. е. такъ прекрасна, что сейчасъ и судить объ ней не смѣемъ.

Стремленіе къ красотѣ и къ изяществу было смутной, но необычайно въ то же время опредѣленной потенціей души Чехова. Возможно, что и воспоминанія дѣтства, такого мышанскааго по условіямъ своимъ, такого сѣраго и неизящнаго, укрѣпляли тоску его по красотѣ, по деликатности, по изяществу, по чему то совершенію, совершенно противоположному и потому «невообразимому». Онъ не кричалъ объ этой красотѣ, не проповѣдавъ, какъ Рескинъ, очищеніе земли и скверны ея черезъ эстетику и эстетическое воспитаніе. Чехонъ, вообще, не проповѣдавъ. Но, несъ во власти своей тоски по невообразимо прекрасному, онъ самъ былъ прелестнѣйшимъ эстетическимъ феноменомъ. Его «настроенія»—въ сущности, настроенія одного и того же рода: столкновеніе чаемой красоты съ разочарованіемъ дѣйствительности; пресыщеніе дѣйствительностью, сонъ жизни, внезапно разбужденной зовомъ си физиологическихъ процессовъ. Отчего прекрасно? Отчего история дами съ собачкой, зародившаяся на залитомъ солнцемъ радостномъ уголкѣ, вдругъ стала неизящной? Почему около пугливыхъ, какъ серны, женскіхъ душъ Сони, профессорши, Анн—какая то подагра, ослиная голова Серебрякова, перья трофионовской бороды и трагедія епиходовской некультурности?

И такъ какъ это неизмѣнно, душа Чехова тоскуетъ. Разбитыя грезы о «невообразимой красотѣ» звучатъ, какъ «лопнувшія струны...»

«И нѣ торжествѣ красоты, въ иллюзіи счастія чувствуешь напряженіе и тоску, какъ будто степь сонаетъ, что она одинока, что богатство ея и вдохновеніе гибнутъ даромъ для міра...» (*«Степь»*).

Такой напряженіе тоскующей по красотѣ «степью» была душа Чехова...

Ното понос.

Художественно-Общественный Театръ

Первый рядъ ЭРМИТАЖЪ.

Въ Четвергъ, 17-го Декабря,
поставленіе будетъ въ 10-ти час.

ЧАЙКА.

Драма въ 4-ти действияхъ съ Актами Чехова.

Действие въ

Ирина Николаевна Ардашова въ лиру
Трепаковъ, вторника въ лиру О. А. Константина,
Константина Гавриловича Трепакова въ
лиру Н. В. Жирородского.
Петра Николаевича Сарычъ въ лиру В. В. Елановой.

Программа первого представления «Чайки».

Программа первого представления «Чайки» въ Художественномъ театре.